

Русское Устье

Было время — услышал я от давнего знакомца, голубоглазого якута Коли Габышева, о чудном поселении в Заполярье, в низовьях Индигирки, под названием Русское Устье. В тех краях Коля в свои молодые годы, до того как стать писателем, учительствовал. И рассказывал он об удивительном, почти сказочном. Там, в полуночной стороне, в насквозь промороженной тундре, у самого Ледовитого океана приютилось русское поселение. И сказочность его не в том, что оно русское, а в том, что, по некоторым данным, укрепилось оно ещё задолго до появления в тех

краях первых землепроходцев. То-то открыли в удивлении рты казаки, годы затрагившие на нелёгкий проломный путь через всю Сибирь, затем по Лене-реке, и ещё одолевшие тыщи вёрст тайгой, горами и тундрой, и встретившие поселение русских людей, объявивших: «А мы тута местные». Сказка какая-то. Волшебство. Было от чего прийти в изумление.

А Коля Габышев продолжал свои «прельстительные» речи. Русское Устье — это, дескать, самый настоящий осколочек давней, то ли шестнадцатого, то ли семнадцатого века, Руси. Живут там несколько веков самые настоящие русские, почти не смешиваясь с местными народами, сохраняя свой язык, язык времён Ивана Грозного. И если хочешь, говорит, послушать, как баяли русичи, ещё только устремившиеся своими помыслами за Камень, то поспеши: наше торопливое время, механизированный быт скоро перетрут этот древний осколок, этот живой музей под открытым небом.

Я процитирую небольшой отрывок из очерка, написанного для местного журнала сразу же, по свежим следам поездки в Заполярье: «Не поверилось сразу, слишком отвыкла душа от настоящих чудес, но заныла от потаённой радости: ну а вдруг всё-таки... эдакая маленькая Земля Санникова среди бескрайних и пустынных просторов севера. Спряталась, затихла за хребтами, за выюгами, за морозами, за ледяной полярной тьмой. Да так и дожила до наших дней.

Только откуда бы, казалось, взяться давней Руси на таинственной Индигирке допрежь что ни на есть первых землепроходцев — казаков? Хотя как откуда? Стоит только вспомнить кровавое лихо междуусобиц и с какой жадной жизни шли русские в неведанные края встреч солнцу, как за каждым поворотом реки, за каждым новым хребтом ожидали увидеть землю богатую, вольную, справедливую.

И объяснение, тут же сочинённое на скорую руку, нашлось. Пришла кровавая пора на русское Поморье, и часть промышленных людей, ради спасения живота своего, жёнок и детей, погрузились на кочи, прихватив провиант, нужный скарб, сторожких собак, и устремились в полуночное неласковое море. Правили кормщики на восход, приглядывая места, богатые белой полярной лисицей, морским зверем, рыбьим зубом. И находились в пути такие кормные места, но окоём, из-за которого появлялось солнце, звал к себе, и ватага, перемаявшись зиму, снова грузилась на кочи. И так они шли не одно лето.

В устье большой реки остановились. Срубили из немудрящего плавника, принесённого рекой из более благодатных краёв, избы, срубили церковь, подняли крест и стали жить. Видно, нашли ту землю, которую искали. Хотя эту землю и землей-то трудно назвать: голая, белая тундра, где и ветру-то не за что зацепиться, три четверти года скована морозами. А придёт короткое несмелое лето — опять же земли мало увидишь. Вокруг вода: реки, озёра, болота.

А может — всё может, — беда остановила поморов. Налетела чёрная буря, погубила кочи, отрезала все пути по морю. Хочешь — живи, где судьбой жить тебе выпало, а не хочешь — ложись да помирай, если не вынесет душа тоски по родным местам.

И назвали то поселение Русским Устьем».

Николай Габышев, щуря свои — удивительные для якута — светлые с голубизной глаза, говорил пряча улыбку:

— Интересный там народ. Наособицу. Свой уклад. Свои сказки. Кое-какие сказки я записал... А язык... Для непривычного уха непонятный язык.

И, уже не сдерживая улыбки, добавил:

— Очень мне интересно послушать, как вы — русскоустыинец и ты — оба русские, будете понимать друг друга. Приезжай. И Валентина Григорьевича зови. Ему интересно будет.

Распутину, конечно, было интересно. О Русском Устье он, оказывается, слышал, читал даже, но, привыкший всё делать без спешки и обстоятельно, сказал:

— Нынче вряд ли удастся поехать. Со временем ничего не получается. А вот на будущий год стоит подумать.

Думалось долго, года три, а то и больше. И хотя Русское Устье и влекло к себе своей сказочностью, возможностью заглянуть в прошлые века, прикоснуться к своему живому прошлому, к своим корням, но так получилось, что не было попутного ветра в северную сторону, и поездка переносилась на привычное «потом». А Николай Габышев нет-нет и присылал письмо, позванивал по телефону и как бы между делом напоминал, что лучшее время для поездки — март, апрель: кончится полярная ночь, улягутся пурги, поутихнут морозы.

Давно замечено: иное не заладившееся с самого начала дело так и пойдёт через пень-колоду, спотыкаясь на ровном месте, и ничего из него не получится, кроме душевной маяты, непонятной тревоги и непонятной вины, будто ломишься в закрытую для тебя дверь, за которой ты абсолютно не нужен, где чужая жизнь.

Да так оно, похоже, и есть на самом деле: линия твоей жизни, твоей судьбы ну не пролегает в данный момент через желанную точку.

Но испытает тебя судьба, поверит тебе — и тогда все стёжки-дорожки в предназначенном тебе мире сольются в широкую и ровную дорогу, и отворятся двери, и всё-то у тебя тогда получится.

В общем, так видится: когда к чему-то искренне стремишься, то рано или поздно задуманное сбывается. Сбывается вроде само по себе, но за всем этим стоит логическое завершение постоянных, заметных и незаметных усилий. Быть может, поездка и дальше откладывалась бы на потом, да так сбежались жизненные стёжки-дорожки, что и с дефицитом времени всё обошлось, и не помешали задуманному никакие важные и сверхважные мероприятия, и здоровье позволило, и время для поездки подошло самое что ни на есть лучшее — конец марта, и...

А у Валентина к тому времени эта поездка и вовсе совпала с творческими планами. И я думаю, что это в первую очередь и сдвинуло нас с места. Он в то время начал работать над очерковой книгой о Сибири и, конечно, по большому счёту, не мог обойти вниманием узловые точки земли за Камнем, такие как торговая Кяхта и Русское Устье, где хоть и в малой степени, но сохранилась её заповедность, её суть.

В общем, билеты куплены, с якутскими друзьями-приятелями поездка оговорена, дорожные сумки упакованы, машина в аэропорт заказана. Делать нечего, надо ехать.

От Иркутска до Русского Устья теперь дорога торная. Правда, исключительно по воздуху. Не успеет полёт надоесть — как через два с половиной часа звучит по связи голос стюардессы: «Граждане, пристегните ремни. Наш самолёт...».

С Валентином было хорошо путешествовать. С первых повестей, опубликованных в Москве, он стал желанным гостем в любой писательской организации, и якутская не была исключением. Нас встретили, проводили, в гостиницу. Не успели мы разглядеть пейзажи за окном, как в дверь постучали, и на пороге появилась смуглая женщина с ласковыми глазами, старшая сестра Светланы Ивановны. Постоянный житель Якутска, с большой сумкой. В сумке — кастрюля, укутанная пё-

стрым пледом. А в кастрюле горячая, только что с печи, мясная снедь. Одно горе: такое мясо, да без огненной воды — гольный моветон. Валя давно уже объявил личный сухой закон, держал его строго, но, в отличие от многих «новообращённых», товарищей, не оставивших вредной привычки, не притеснял. Чем и пришлось воспользоваться.

Я повторюсь: с Валентином всегда было легко путешествовать. Для невнимательного глаза он, казавшийся молчаливым и отстранённым, в действительности был приветлив и доступен даже незнакомым людям. Естественно, если те вели себя соответствующим образом. А вот нагловатого панибратства не терпел. Помню, в доме Иркутских писателей один из начинающих авторов, далеко уже не в юношеских годах, весьма бесцеремонно начал с ним разговор словами «вот ты, Валентин...». Валя напрягся, помолчал мгновение, пытаюсь вспомнить этого человека. Сухо спросил:

— А мы хотя бы знакомы, чтобы вот так, на «ты»?

Продолжения разговора не было.

Вот теперь, вспоминая былое, хочется повториться и подвести черту под всеми этими словесами об угрюмости и необщительности Григорьича: был он приветлив, доброжелателен, но молчалив, как молчаливы были родовые сибиряки таёжных деревень. И добавить хочу: была в его сути какая-то особая притягательность, которую мне и сейчас легче объяснить, быть может, только чистотой его души.

В Якутске мы передневали, навестили грустного Николая Габышева, оказавшегося в больнице, Коля вздыхал, очень жалел, что не может присоединиться к нам, и высказывал надежду, что дело это в будущем поправимо.

Путь до Чокурдаха, центра Аллаиховского района, от которого до Русского Устья рукой подать, хоть и не большой расстоянием, чем от Иркутска до Якутска, но более продолжительный — четыре часа чистого полёта. Вот на этом примере я и стал рассказывать Валентину — чтобы сбить дорожную скуку, — как пытался в своё время осознать якутскую меру расстояния под названием «кёс». Занимаясь переводами якутской прозы — в те годы много переводилось с языков малых российских народов на русский, давая национальным писателям выход к большому читателю, — я не сразу осознал, как понимать это самое «кёс».

— А сколько километров, хотя бы приблизительно, вмещает кёс? — спрашивал я автора текста.

— Километрами это не измеришь.

— Тогда, может, это часы-минуты?

— Какие часы были у якутов в давние века?

— Ну, хорошо, — впадал я в ступор, — а сколько кёс будет расстояние от... к примеру, от Якутска до... — я называл ближайший районный центр.

Ответ обескуражил, но и внёс малую надежду на возможность освоить смысл термина.

— Хороший конь — мало кёс. Плохой конь — много кёс.

В общем, разобрались. Кёс — это время между раскуриванием двух трубок. Пришло время закурить в пути — значит, одолел один кёс. Вот и вся недолга. И про коня стало понятно.

В Чокурдахе, как и в Якутске, мы только переночевали, и назавтра — в Полярный. Тут надо пояснить, что посёлка Русское Устье больше не существует, а есть Полярный. Четыреста лет название людей устраивало, оно точно выражало суть явления. Но когда поселение было вынуждено переехать чуть подальше от раз-

мывающей берега Индигирки, то по чьей-то чиновничьей воле оно превратилось в безликий Полярный, один из нескольких Полярных, разбросанных по нашему северу.

Мне жаль старого названия, светлого и крепкого — «Русское Устье». Да и сами потомки землепроходцев, как выяснилось потом в разговорах, хоть и привыкли к новому названию и в обиходных разговорах уже не запинаятся об него, но называют себя по-старому: «Мы русскоустыинцы». Тут надо пояснить, что Русским Устьем, кроме главного поселения, называлось и всё понизовье Индигирки, где в своё время стояли поселения русских: Косухино, Станчик, Стариково и ещё несколько других.

Я не очень люблю, когда пишущая братия, рассказывая о поездке, нередко начинает со слов «Наш самолёт...». Но когда пишешь об Арктике, без этих слов никак не обойтись: здесь каждая поездка начинается с самолёта и им же заканчивается.

...Итак, наш самолёт... В общем, как сказал Валентин, забираясь в брюхо маленького, тесного одномоторного биплана, нам оставалось сделать самый маленький, самый короткий прыжок: путь до Полярного занимает чуть больше получаса. Самолёт летел низко, и мы приникли к иллюминаторам, стараясь понять, почему край этот так привлёк русичей, почему они остановились здесь, не устремились в более благодатные края.

Шёл конец марта, даже в Сибири уже всюду позванивали ручьи, пробовали свои голоса после дальнего перелёта первые жаворонки, вырядилась в серёжки верба, а здесь, внизу, проплывала напрочь забывшая о тепле снежная пустыня. Я написал, что проплывала, но порой казалось, что самолётик хоть и натужно гудит мотором, а всё без толку. Он словно замер на месте: внизу только белая равнина, глазу не за что зацепиться. И, главное, мы летим на низкой высоте, но не заметили в тундре и малых, самых робких признаков жизни. И совсем неуютно стало на душе, когда представил нависшую над этими краями беспросветную многодневную «полярку» — сверхдлинную ночь. Мрак, холод, глад.

И опять же думаешь: но ведь живут же здесь люди, которых сюда никто не ссылал, живут здесь века совершенно добровольно и не держа мысли покинуть эти края. Почему?

Почему, почему? Вряд ли кто сумеет ответить на этот вопрос, не сумев по-настоящему, изнутри, познать, не только познать, но и принять в душу и эту тундру, и Индигирку, и озёра, и пурги, и снежную беспокойность, и томительное ожидание солнца, и радость первого солнечного луча после «полярки».

И по этому поводу вспоминался забавный случай — разговор, пересказанный Валентином незадолго до поездки.

Принимал Валентин у себя в Иркутске очередного гостя-писателя из-за рубежа, весьма положительно настроенного к нашей стране. Гость побывал на Байкале, прикоснулся к самому краешку тайги, ходил по старинным иркутским улицам и открыто радовался всему увиденному:

— Сибирь — это так могуче, просторно, красиво.

А перед самым отъездом гость, чуть смущаясь, попросил разрешения задать несколько необычных вопросов. Он начал с того, что Сибирь в своё время была краем ссылок, люди сюда попадали часто помимо своей воли, что те времена прошли и теперь люди вольны жить там, где им нравится, и ...

— Почему вы не переедете в более благодатный край? Что вас здесь держит? Ведь в Сибири морозы, короткое лето.

Такого вопроса Распутин никак не ожидал. Парадокс, да и только: гость целыми днями говорил о том, как ему здесь нравится, и вдруг...

— Я ему что-то ответил, — сказал мне Валентин Григорьевич. — Стал объяснять, но мне кажется, что он меня так и не понял, хотя вежливо кивал головой и соглашался.

И я думал, что гость Распутина не понял. Ведь для того, чтобы Сибирь была твоей сутью, пропитала тебя насквозь, надо для начала родиться в Сибири, полюбить отчину, и тогда не станешь искать на карте мест своего будущего проживания.

Забегая вперед, осмысливая эту поездку уже потом, в Иркутске, скажу, что Заполярье — это и для сибиряков крайность. И одно только в этом случае понятно: чтобы цепко держаться за освоенное предками-землепроходцами Русское Устье, надо быть русскоустыинцем.

Я — о себе. Я не был русскоустыинцем, и проплывавшая внизу промёрзшая земля лишь сумрачно тревожила своей пустыньностью, однообразием равнины. И никогда мне, видимо, — да не видимо, а наверняка — не принять безлесья, а потому унылой для меня равнины, где и глазу-то не за что зацепиться. И не хулю я, видит Бог, другие края, а всё ж тайга и вздыбленная земля мне дороже любой другой. Родная земля — она потому тебе и родная, что ты знаешь, как на ней жить и как выжить, если будет надо. А тут... Окажись я сейчас вот там, внизу, один — думаю, не долго смог бы сохранить в себе тепло и надежду на хороший исход. Я не знаю, как это делается здесь, в снежной пустыне.

Снова, забегая вперед, следует сказать, что эта пустыня совсем не пустыня, в чём мы потом убедились воочию, — она полна горячей жизнью, и любой охотник и рыбак назвал бы эти края богатыми и щедрыми.

Но пока я видел мёртвые снега, под которыми угадывались извивы Индигирки. Потом, как-то совсем неожиданно, увидел под крылом стоящие посреди тундры прямоугольнички домов, расположенных открыто, без всяких привычных там оград, заборов, тынов и поскотин. Сколько этих домиков? Два десятка, три? Не успел их сосчитать, как белая равнина по левому борту вместе с домиками круто поплыла вверх, затем выровнялась, и самолёт пошёл на посадку.

Добрались-таки!

В открытый проём самолётной двери хлынул морозный воздух Русского Устья, замелькали лица людей, для которых эта земля вот уже четыреста лет является родной землёй, в мерзлоте которой выдолблены могилы прапращуров. С жадным интересом вглядываюсь в эти лица, ищу на них отсветы той давней удалой и яростной силы, что вела русских в дали дальние, через не мирные земли, оставляя на своём бесконечно длинном пути бесчисленные затеси — могилы с православными крестами. Народу на льду Индигирки собралось много: тут и улетающие в районный центр, тут и провожающие, и пришедшие просто так — прилёт самолёта хоть и обычное дело, но всё ж событие, — потому незнакомые люди воспринимаются как единое целое, не распадаясь на индивидуальности. Но всё ж замечаются лица с крепким налётом северной Азии, лица, тронутые дымкой азиатских костров лишь самую малость, лица — на удивление — абсолютно русские.

Вижу, как наши будущие знакомцы с не меньшим любопытством, хотя и тшчатся это скрыть, посматривают на Валентина Распутина: интересно увидеть вблизи живого писателя, книги которого читал, по чьим книгам видел фильмы.

Валя, как обычно в минуты встреч или лёгкого напряжения, чуть покашливал,

оставаясь внешне спокойным и чуть отстранённым. И только глаза, его взгляд выдавали заинтересованность и доброжелательность.

И нам интересно. Ведь в истории Русского Устья много необычного и даже загадочного. Долгие годы прожили русскоустьинцы не только в отрыве от родины, в тиши и уединении, но и в полной безвестности. И лишь в сороковых годах семнадцатого века они были совершенно случайно обнаружены казачьим отрядом, двинувшимся из Якутского острога в поисках новой земли.

Из Чокурдаха мы прилетели в сопровождении Михаила Владимировича Хаустовича, работника то ли райкома, то ли исполкома. Вот он и стал знакомить с нашими будущими хозяевами, давшими нам приют.

Тут же на льду знакомимся с Щербачковым Виктором Петровичем. Худощавый, лёгкий, некрупного роста. Исполняет обязанности председателя исполкома сельского совета. Коренной русскоустьинец. И Караченцев Валентин Николаевич. Крепкий, подтянутый, подвижный. Из приезжих. Живёт здесь около десяти лет. Из южных краёв, но вот освоился. И освоился до такой степени, что несколько лет работал штатным охотником, имел собачью упряжку.

Самолёт, на котором мы прилетели, не шибко долго задержался. Только что из его чрева выбрались прибывшие, как деловито и буднично, словно в маршрутное такси, в него стали забираться пассажиры, и вот уже самолёт заревел мотором, затрясся, заскользил по льду Индигирки и стал набирать высоту.

Самолёт улетел, на реке стало делать нечего, встречающие, и мы с ними, попытались к невидимому отсюда посёлку. Конец марта, а снег под ногами морозно скрипит, пропитанный солнечным светом, спит, заставляет шуриться.

По ступенькам, вырубленным в снегу и земле, поднялись на высокий, почти отвесный берег, и вот он — посёлок. Здесь стоило остановиться, осмотреться, ведь сюда стремились вот уж несколько лет — и мы остановились.

Даже не верится, что посёлок стоит на самом краю обитаемой земли, далеко за Полярным кругом. Вот если бы не слепящая светом голая тундра.

А так дома, по крайней мере новые дома, как в каком-нибудь леспромхозовском посёлке в южной Сибири: типовые, примелькавшиеся, серийные, без так называемых архитектурных излишеств.

Маленькое крылечко, дощатые сени, прямоугольнички окон без всяких там наличников и прочих «эстетических глупостей», шиферные крыши. Котельная. Цистерны с горючим — питание для котельной. Трубы отопления, разбегающиеся к домам, защиты в теплоизоляционные короба из дерева и старых металлических бочек: в вечную мерзлоту трубы не закопаешь.

Ближе к обрывистому берегу Индигирки стоят дома индивидуальные, традиционного для русскоустьинцев типа: из выловленного в реке плавника, с плоской крышей, с маленькими оконцами и маленькой дверью, открывающейся вовнутрь, в которую можно войти лишь хорошо поклонившись дому.

И ещё примета севера — ездовые собаки. Упряжки крупных собак, сидящих на привязи.

С первой собакой мы познакомились ещё на «аэродроме». К Валентину Караченцеву подошёл крупный пёс в лохматой и пушистой шубе. Валентин потрепал псу загривок.

— Соседский пёс. Но ко мне привык. Щенок ещё совсем.

А каким же этот щенок великаном вырастет? Пёс принял ласку спокойно, даже сурово, не оскалился в улыбке, не мотнул приветственно хвостом: он, похоже, уже и не считал себя щенком. Жизнь на севере приучает к сдержанности.

Я уже упоминал, что в Русское Устье Валентина привело не просто любопытство, а творческие планы: уже была задумана книга очерков о ключевых точках Сибири, которая потом и вышла под названием «Сибирь, Сибирь...». Валя вникал в каждую деталь жизни легендарного поселения.

Весь Полярный назавтра с утра мы обошли по кругу неспешной походкой за полчаса, а то и меньше. Что и говорить, не крупный посёлок, но в нём есть всё необходимое для жизни: магазин, почта, школа, просторный фельдшерский пункт с пустующими койками стационара, клуб, котельная. Строится двухэтажный дом. Есть надвигающиеся жилищные проблемы: хоть и стоит посёлок на высоком берегу, но Индигирка медленно, но неотступно рушит берег, подбирается к частным домам, построенным, по обычаю, поближе к реке.

Живёт в посёлке около семидесяти семей. Более пятидесяти из них — коренные русскоустыинцы. Главное занятие — охота на песца. И рыболовство. Правда, рыболовство в конечном итоге подчинено пушному промыслу — для пропитания собачьей упряжки, для привады песца.

В посёлке исторический день. Ну если уж не совсем исторический, то, по крайней мере, весьма памятный. А в двух семьях с него можно будет вести отсчёт времени. В Полярном появились два самых первых в поселении мотоцикла. Привезены они были и проданы вчера, но выехали на улицу лишь сегодня, разрушив тишину победным рёвом моторов. Трудно сейчас сказать, как они будут использоваться, — дорог в тундре для них нет, — а пока мотоциклы кружат по посёлку, десятки раз проезжая по одним и тем же тропам.

Посёлочек для нас уже не столь чужой как вчера, довольно быстро появились знакомые, да и знакомиться здесь нетрудно: подошёл к человеку и говори, если есть тебе о чём говорить. А северное гостеприимство, похоже, осталось в этих краях прежним. Мы уже знаем Ивана Алексеевича Чикачёва, соседа Караченцевых, бывшего охотника, а теперь работающего приёмщиком пушнины. Семья Чикачёва вместе с семьёй Караченцева взяла на себя заботу о нашем пропитании.

Познакомились с охотником Павлом Алексеевичем Черемкиным. Ходили по посёлку, остановились около упряжки собак и тут же разговорились с её хозяином.

Знакомясь с посёлком, конечно, никак нельзя было пройти мимо цеха (цех — это, пожалуй, слишком громко будет: там, кажется, всего одна не очень-то просторная для таких дел комната), где обезжириваются песцовые шкуры и обрабатываются шкуры для промысловой одежды. Работа эта нелёгкая, ручная, да и требует определённого навыка. Признав Хаустовича за районное начальство, одна из женщин — а работают в цехе только женщины — довольно громко высказала недовольство тем, что у них нет химикатов, с помощью которых шкуры выделываются значительно легче.

— Руки ведь устают.

— А руководству вы об этом говорили? — спросил Михаил Владимирович. — Нет. Напрасно. Я думаю, химикаты не проблема. Вернусь в Чокурдах — выясню. Химикаты будут.

— Ну да, — тут же ответила недовольная с редкой даже для женщин «последовательностью». — С этой химией разве хорошо шкуру выделаешь. Она и тепло держать не будет. В такой одежде только мёрзнуть.

Как-то получилось, что наша жизнь в Полярном во многом стала соприкасаться с семьёй Валентина Караченцева, а в житейском обиходе просто Юры. Почему Юры? Видно, он сам так решил. Иным собственными именами не нравятся, но терпят.

А у Юры характер крепкий, решительный. Когда речь зашла о поездке в тундру, или по-местному — сендуху, то и здесь оказалось, что Юра не оставит нас своими заботами.

— Завтра с утра и поедем, — объявил он. — Надо об одежде для вас подумать. Кое-что придётся у соседней прихватить.

Следующим утром в одной из комнат квартиры Караченцевых мы увидели целую грудку по преимуществу меховых вещей. Юра оценивающе оглядывал каждого из нас, спрашивал размер обуви и решительно протягивал какую-нибудь лопотину. (Лопоть — по-русскоустыински «одежда». Да и по-сибирски тоже. Во многих таких случаях ни Валентину Распутину, ни мне переводчик не требовался.)

— Это тебе. Это тебе. А это, прикидываю, тебе в пору будет.

Выехать в тундру, даже в первых числах апреля, когда солнце стоит высоко над горизонтом, без соответствующей экипировки и думать нечего: тридцать градусов мороза — это всё равно мороз. Да если ещё с ветерком. И под строгим контролем семьи Караченцевых, соседней — Ивана Алексеевича Чикачёва и его жены Тамары Алексеевны — мы стали медленно одеваться. На ноги — шерстяной носок. Потом кянчи, меховые носки. А потом торбаза, теплейшая обувь, сшитая из двух слоёв камуса — прочного меха с оленьих ног: слой мехом внутрь и слой мехом наружу. Стежёные или меховые штаны.

Свитер. Шубы. Поверх шуб — парки. Без посторонней помощи и с непривычки никак не одеться. Через десяток минут мы стали толстыми и неповоротливыми.

— Давайте на улицу, не то быстро вспотеете, — советуют северяне.

Мы уже было взяли за шапки, тоже особой, северной конструкции, как Тамара Алексеевна всплеснула руками.

— Ой, а платки-то совсем забыли.

Оказывается, платок нужен, обыкновенный хлопчатобумажный платок — никакой другой, даже шерстяной здесь не походит, — чтобы обвязать низ лица. Иначе можно обморозиться.

Тяжелая в помещении одежда на улице как-то очень быстро полегчала, и сам себе уже не казался слишком неуклюжим и неповоротливым. И ходить в такой одежде легко, и руками двигать удобно.

Выехать в тундру на осмотр пастей — песцовых ловушек — было решено на двух нартах, привязанных одна за другой. Тяговая сила не собачья упряжка, а снегоход «Буран», эдакий крепенький мотороллер, где вместо переднего колеса стоит короткая лыжина, а вместо заднего — две небольшие гусенички, наподобие тракторных. Хоть и солидно выглядел снегоход, а всё ж подумалось: далеко ли он сможет утащить такой прицеп?

Кстати, о нартах. Одна из них собрана по старинке, из дерева. Стянута сыромятными ремнями. Лёгкая, удобная, прочная. Другая привезена с материка, изготовлена промышленным способом. Имеет, по сравнению с первой, два существенных недостатка. Она в два раза тяжелее кустарной и весьма тяжёлая для кармана. Охотники по сей день недоумевают, отчего так дорого стоят два металлических полоза и нехитрый набор припаянных к ним трубок.

«Буран» хоть и казался лишь мотороллером, но легко тронул наш нартовый поезд и, нисколько не задыхаясь, таскал его чуть ли не весь день по бездорожью.

Ещё в самом начале нашего знакомства с Полярным Иван Алексеевич Чикачёв посетовал, что молодёжь как-то не очень стала стремиться в промысловики. Но тут же добавил, что сейчас интерес молодёжи к охоте стал несколько возрастать. И причина тому — снегоход «Буран». И объяснил, что к чему. Чтобы успешно

промышлять, охотник должен иметь как минимум одну собачью упряжку, которая, кроме ежедневных забот, требует худо-бедно полторы тонны рыбы в год. А рыбу эту надо самому поймать. Нужна рыба и на приваду песцов, чем больше, тем лучше. Нужна рыба и себе на прокорм: без рыбы русскоустыинец и стола не представляет. Так что успевай поворачивайся, рыбачь. А «Буран» большое облегчение даёт. И рыбы ему не надо, способен скорость развить очень приличную. Может быть, даже несколько вредную для остальных обитателей тундры.

Когда мы возвращались из тундры в посёлок, остановившись на короткий отдых, заметили далеко в слепящей тундре несколько чёрных передвигающихся точек. А вскоре увидели, как, запрокинув головы к спине, по льду Индигирки летели несколько диких оленей. А за ними, точно на привязи, по-волчьи неотступно скользил ревущий «Буран». Было видно, что преследователь без ружья, а то он давно положил бы оленя на снег. И человек решил загнать зверей до изнеможения. А тем уже недолго оставалось бежать, у них обыкновенное, хоть и выносливое, живое сердце, а не «пламенный мотор». Когда стадо неожиданно разделилось и преследователь рванул за более крупным, оставленные в покое олени пошли медленно, пошатываясь от усталости, готовые упасть.

И вот она, тундра-сендуха. Гудит впереди поезда неутомимый снегоход, нарты колотит на жёстких снежных застругах, слепит весеннее солнце (без защитных очков никак не обойтись, недолго и ослепнуть), остро сочится мороз где-то у подбородка, заставляет поправлять оказавшийся таким нужным ситцевый платок. И простор. Так и хочется сказать: не мереный, но хоженный. Поворачивай руль в любую сторону — кругом безлюдье, на сотни километров на запад и восток нет человеческих поселений. Лишь на юге небольшие посёлочки, до которых, если по земле, а вернее по льду, — пилить и пилить.

Но вот парадокс, и к тому надо привыкнуть: в этой необъятной тундре, на этих многочисленных реках при таком крайнем малолюдстве чуть тесновато. Вообще-то, не совсем точное слово «тесновато» — просторно в тундре, но нет там ничейной земли, не пойдёшь и не соорудишь в тундре пасти, где хочешь, не забросишь невод, где вздумал. Все участки сендухи, все пески на реках закреплены за промысловиками.

Иному охотнику, чтобы попасть в свои угодья, нужно одолеть шестьсот — семьсот километров пути. Ближе участка не досталось. Из разговора всё с тем же Иваном Алексеевичем Чикачёвым знаю, что промысловый участок в двести квадратных километров считается маленьким, а иной участок занимает территорию в три-четыре раза больше. Его слова подтверждает и Юра Караченцев. А о своём участке говорит, что он совсем крошечный, любительский и расположен рядом с посёлком.

Хоть и рядом участок Юры, но прошёл час, а быть может, и того больше, прежде чем снегоход остановился около первой настороженной на песца ловушке — пасти. Пасть оказалась пустой. Мы и не думали, что сразу же увидим пойманного песца, но лёгкое разочарование всё же испытали: наши души уже тронул охотничий азарт.

Пасть — это довольно-таки громоздкое сооружение из дерева, построенное в расчёте на многие годы. Пасть — капитал, основа достатка в доме и переходит по наследству от отца к сыну. И если за ловушкой хорошо присматривать, то она служит далеко не одно десятилетие.

Мы кружили и кружили по тундре от одной пасти к другой, и солнце светило

то слева, а то и вообще светило совсем не с той стороны. Как люди умеют ориентироваться в тундре — ума не приложу. Снег, чуть всхолмленная равнина и ни одного более-менее надёжного ориентира, кроме солнца. А оно, солнце, могло в любое время и за тучу спрятаться. Да и ко всему чувствовал: что-то неладное творится со мной: порой никак не могу определить расстояние, даже приблизительно, до какой-нибудь гряды. То ли она совсем небольшая, не выше нашего снегохода, и тогда до неё полсотни метров, то ли это солидная гряда, и удалена она уже на километр или более. Но Юра вполне уверенно находил ловушки, хотя мне однажды даже показалось, что он немного заблудился. И только дал себе волю так подумать, как почувствовал, что уже крепко продрог. Одежда стала совсем лёгкой, невесомой. Мёрзли ноги, ледяной ветер жёстко продирает тело, и, как только санный поезд остановился около очередной пасти, все мы вываливались из нарт и принимались исполнять некоторое подобие утренней гимнастики. Особенно крепко промёрзли ноги, и меня и Валентина больше других упражнений привлекал бег на месте: выбрав застругу покрепче — снег так утрамбован ветром, что на нём не оставалось и следа, — начинал дробно колотить ногами.

Как я ни отнекивался от фразы «с тундрой шутки плохи», но написать её всё же надо. И правильно мы поступаем, когда пишем, что с морем шутки плохи, с тайгой плохи, с горами плохи. И с тундрой, конечно, плохи. Не любит тундра шутить, не прощает малейшего невнимания к ней. Вот случай, к примеру, с тем же Юрой Караченцевым.

Произошло это лет восемь назад, когда Юра имел собачью упряжку, серьёзный промысловый участок и вёл обычную жизнь охотника. Однажды он приехал на короткий отдых к своему балку и собрался было сгоношить обед, как увидел бегущего по тундре песца. Добыча, казалось, сама шла в руки. Юра был ещё совсем молод, азартен, и решил не отворачиваться от удачи и немедленно добыть зверька. И даже прикинул, что на это дело потребуется не более получаса. И потому, больше уже ни о чём не думая, он схватил лишь ружьё и, как был в одной телогрейке, кинулся к нартам. В азарте погони он не приметил на горизонте маленькое облачко, которое начало расти, наплывать и вдруг накрыло собой весь мир.

Пурга. В это время даже от дома к дому лучше всего ходить, держась за спасательные, загодя натянутые, канаты. Оторвался, ушёл в чёрную круговерть — и можешь замёрзнуть совсем недалеко от тепла.

Юра понял, что сплеховал, и ему ничего не остаётся, как вместе с собаками закапываться в снег, с бережливостью скупца сохранять в себе уходящее тепло, надеяться, что вырвавшаяся из преисподней «погода» скоро поослабнет, затихнет. Надеяться на удачу и терпеливо ждать.

Только сколько ждать?

Столько, столько надо.

Юра Караченцев пролежал в снегу неделю. Без еды. Несколько карамелек, случайно завалявшихся в кармане телогрейки, можно в расчёт не брать. И одежда не подходила для пургования.

Вспоминая об этом случае, Юра рассказывал, что порою физические муки и отчаяние доводили его до мысли о самоубийстве. Сил для борьбы за жизнь оставалось все меньше и меньше.

— Меня одно спасло, — говорит Юра, — жена ребёнка ждала. Представлю, каково ей будет без меня... снова терплю. Тем и жил всю эту неделю.

Об этом случае с Караченцевым мне и Валентину рассказывали и другие охот-

ники, люди многоопытные, для которых сендуха — дом родной. И при этом они жестковато, без тени сочувствия, добавили: сам виноват.

И Юра так считает. Особенно теперь, с высоты своего нынешнего житейского опыта. Караченцев прошёл испытание, которое ему едва не стоило жизни, набрался опыта и уважения к природе. Но не всем это удается сделать. Бывает и так, по пословице: «Пока солнце взойдёт, роса успеет очи выесть».

Песца мы в тот раз не добыли, все пасти оказались пустыми, но Юра, как мне казалось, не слишком-то и огорчился, или не показал своего огорчения: север приучает к терпимости во всём.

Но мы были довольны этой поездкой и благодарны Караченцеву за то, что он нам показал тундру и показал, что она всегда живая. Мы видели вольно бегущего песца, видели стаю полярных куропаток, которые подпустили нас совсем близко, видели зайца. И всё это за одну, в общем-то, недолгую поездку.

Всё в мире относительно. Даже из моих родных мест, из Сибири, тот же Якутск представлялся далёким северным городом, стоящим на вечной мерзлоте. Да так оно и есть на самом деле. Но вот отсюда, из тундры, он был уже совсем другим: тоже далёким, но уже южным, где летом растут высокие зелёные травы, где растут большие деревья, где летняя жара бывает за тридцать градусов.

И когда после кружения по тундре от пасти к пасти, кружения по заледеневшему плоскому кругу, где нет даже признаков человеческого жилья, по кругу, очерченному низкой линией горизонта, мы наконец-то подъехали к крошечному балку, притулившемуся у еле угадываемого под снегом озера, на нас пахло человеческим жильём, человеческим присутствием в тундре, обжитостью. И цивилизацией, если хотите.

А когда потом, покружив по сендухе ещё какое-то время, увидели вырастающий из-под снега посёлок, то он нам уже не казался ни маленьким, ни затерянным. Рано было говорить, каким он для нас стал, но мы радовались его приближению. Радовались домам, уюту в этих домах, надёжному теплу и всему тому, что есть в посёлке: магазину, треску двигателей снегоходов и мотоциклов, дыму над трубой котельной и даже многолюдству.

Люди в наше время разучились удивляться тому, чему ещё стоило бы удивиться, и многое воспринимают как должное. Вот и мы без всякого удивления увидели в квартирах полярников телевизоры, электроплиты, не говоря уже о других предметах городского быта. А удивляться стоило бы. Кругом снежная пустыня — ну, не пустыня, конечно, но всё-таки — нет на тысячи километров ни ГЭС, ни ТЭЦ, а из окон жилищ, прямо в тундру, отвечивают экраны телевизоров.

К Русскому Устью уже давно проснулся немалый интерес, и потомки землепроходцев не обойдены вниманием ни кинематографистов, ни газетчиков, ни учёных-лингвистов. Документалисты сняли цветной фильм о русскоустынцах, и он был показан по центральному телевидению. Нам не удалось увидеть его на экране телевизора, но зато мы смотрели фильм о Русском Устье в клубе посёлка Полярный (читай: Русское Устье). Русскоустынцы смотрели его далеко не первый раз, но с видимым удовольствием, хотя и высказывалось некоторое недовольство фильмом, стороннему человеку не понятное, основанное скорее на личных отношениях, попавших в кадр и не попавших.

Но нам-то, пришлым, всё было интересно и всё было хорошо. Сидит среди летней тундры человек и что-то рассказывает на малопонятном языке. И, выждав определённую паузу, голос за кадром сообщает, что на экране и человек русский,

и говорит по-русски. Только говорит он на языке наших предков. На языке шестнадцатого века. На том языке, на котором до совсем недавнего времени говорили русскоустыинцы.

Вслушиваешься в этот говор, непонятный вроде говор, льющийся, льющийся непрерывным ручейком без восклицательных всплесков, без пауз, говор сродни давнему обычаю русских писать непрерывной строкой, без интонационных знаков — так, как писаны новгородские берестяные грамоты.

Так говорили русскоустыинцы. Но уже не говорят. Или почти не говорят. Школа, радио, а теперь и телевидение давно обучили северян современному русскому, в убыток дедовскому языку. Лишь люди среднего и старшего поколения, собираясь вместе, могут потешить себя старинным русскоустыинским разговором. И понимают люди, что пройдёт совсем короткий отрезок быстротекущего времени — и уйдёт, исчезнет живой язык времени Ивана Грозного, уйдут и сами его носители. Понимают это не только учёные-лингвисты, но и свои, доморощенные языковеды. С одним из них, Егором Семёновичем Чикачевым, нам удалось встретиться.

Живёт Егор Семёнович в старой юрте, эдаком доме чисто северного варианта, обкатанного опытом нескольких веков. Дом квадратный, приземистый, крыша плоская, окошки маленькие. Недалеко от входа куски голубого льда. Это запас воды. Около дома высокий конус тонкомерных лесин. Это дрова, принесённые Индигиркой из далёких своих верховий. Всё как встарь: с запасом, с установкой на автономное выживание. Крошечная дверь, да и не дверь даже, а дверца, ведёт в холодные сени. Дверь открывается внутрь. Заметёт юрту снегом под крышу — хозяин легко откроет наружную дверь, сам себя откопает из завала. В доме печь. Из металлической двухсотлитровой бочки из-под горючего. С кирпичом худо в этих краях, ближайший кирпичный завод... Далеко отсюда ближайший кирпичный завод. Вот и приходится сооружать печь из бочки.

Егор Семёнович Распутина уже ждал, приготовился к обстоятельному разговору, на светлую от солнца столешницу положил тетрадь с записями.

— Старые слова народ забывать стал, вот, я думаю, — записывать надо, — Егор Семёнович погладил ладонью тетрадь, ища поддержки, посмотрел на гостя.

Валентин Григорьевич и Егор Семёнович недолго приглядывались друг к другу, быстро нашли общий язык, и вот уже хозяин дома открыл свой труд и не спеша читает: — Нарусный. Нарусный — это значит нарочный. Послать нарочного. Понятно? — Понятно, — соглашается Валентин.

Отчего же не понятно? Только слово это действительно так произносилось в давние времена, или просто-напросто слово «нарочный» искажено местным произношением? Пока это не важно. Важно то, что Егор Семёнович волнуется за судьбу языка своих предков.

— Посылать поклоны.

Пришедший с нами председатель сельсовета чуть улыбнулся:

— А это что такое?

Оживился хозяин дома:

— А это, значит, так. Если парню понравилась девица, то он ей посылает поклон — лоскуток с завязанным на нём узелком. И если девушке парень тоже нравится, она поклон отсылает обратно и вяжет на лоскутке свой узелок.

— Верно, мы для чужого слуха не всегда понятно говорили, — снова берёт слово председатель сельсовета. — Вот такой случай помнится. Я маленький ещё был. Посылает меня бабушка к соседям чаю на заварку попросить. Прихожу к

соседям и говорю, как принято было: «Бабушка заказывала варюшку-да». Вот это «да» обязательно прибавлялось. А варюшка — это значит чай на одну заварку. Соседи были приезжие, и хотя уже привыкли к нашему разговору, но для шутки сделали вид, что меня не поняли, и спрашивают: «А тебе какую надо варежку, с левой руки или с правой?»

Валентин Григорьевич включил магнитофон, беседа всё больше и больше настраивается на деловой лад.

— Башник. Набашничал — значит наговорил лишнего. Или секрет выболтал. Айдан. Это значит скандал, ругань. К примеру, так сказать: «Санька Портнягин сегодня опять с женой айданил». Шепоткой. Значит пёстрый. Собака у меня шепоткая. И прозвище могло быть — Шепоткой. И вот так говорили: обутрат. Можно сказать: «Куда торопишься, пусть обутрат». Значит рассветёт, обогреет.

Хоть и говорит Егор Семёнович, что слово это чисто русскоустыинское, но пусть об этом скажут лингвисты, им виднее.

А вот Зензинов, который весьма интересовался бытом и речью индигирцев, писал: «...Кроме этих особенностей в их речи сохранились старинные русские слова, выраженные в обороты, память о которых нами уже утрачена». И исследователь приводит слова, которые для русского сибирского уха что ни на есть родные, обиходные: «морок» — туман, ненастье; «лыва» — лужа; «курья» — залив на реке. И так далее, и так далее.

Утрачены были к началу века эти слова в европейской России или не утрачены, это дело опять же лингвистов, но, услышав эти «утраченные» слова в устах индигирцев, почувствовалась тёплая родственность к ним, к людям, четыреста лет оберегавшим родной язык. Да тут и к бабке ходить не надо, и так понятно, что и индигирцы, и вольный сибирский землепроходец, ратник и пашенный мужик — триединый в этих своих ипостасях — отростки общего могучего корня, имеют единую прапрародину.

Удивительно, что некоторые слова, которые и для Сибири-то считаются сугубо диалектными, имеющими крайне малое распространение, вдруг нашли в Русском Устье. Вот, к примеру, слово «макса», означающее налимяю печень. Этого слова нет в четырёхтомном Словаре русского языка, выпущенном институтом русского языка Академии наук СССР, его нет и в словаре Даля. Зато есть это слово в девятом томе Словаря русского языка XI-XII вв.

Или взять другое слово — «тельно», по-русскоустыински означающее, как пишет Зензинов, «круглые лепёшки из мятой рыбы». Употребляется это слово (и в том же значении) в Сибири, на севере Байкала, никак не связанного с Индигиркой.

Или ещё. Тундра по-русскоустыински — «сендуха». Порой так и кажется, что это слово-эндемик, родившееся и имеющее распространение только на Индигирке. Но в Сибири среди охотников бытует выражение, правда, не очень и не везде употребляемое, — «на сендухе», что означает ночёвку под открытым небом. Как ни крути, а родственность в этих выражениях есть.

Жизнь индигирца, охотника и рыбака, во многом, если не сказать полностью, зависит от погоды. И пуще всего мешает любому промыслу пурга. И не только мешает, а просто-напросто перечёркивает промысловое время: сиди и жди, когда пурга закончится. Сиди и жди.

Пурги зависят от глобальных причин, но и от местных причин тоже случаются. И пурга вещь настолько не редкая, что была бы хоть малая причина, а пурга всегда будет.

— Опять, видно, кто-то плиту открытой оставил, — сердятся охотники, почувствовав усиление ветра.

Есть за рекой стародавняя могила с каменной плитой. На плите вытесаны ангелы, православный крест и надпись: «Под сим камнем покоится...». Плита от дождя и снега прикрыта деревянным коробом. Стоит открыть плиту и потом не поставить короб на место — жди непогоды. Таково поверие.

Когда мы подъехали к могиле, короб стоял, как ему и положено стоять, и потому погода была прекрасная: солнце, полное безветрие, тишина. А уезжая, мы сделали всё, чтобы погода не испортилась. Мы были в этом крайне заинтересованы: не дай Бог сорвётся поездка на Русское Устье, вернее, на то место, где оно когда-то стояло. В Полярном мы считали для себя невозможным не побывать на месте старого Русского Устья, не постоять там на берегу кормилицы Индигирки, не поклониться памяти русского человека, выжившего на этой богатой, но неласковой земле.

Ехали на уже привычном нам транспорте: впереди нартового поезда Юра Караченцев на своем снегоходе, а на двух нартах — пассажиры в прежнем составе да научный сотрудник Иркутского пединститута фольклорист Галина Афанасьева, очень заинтересовавшаяся устным творчеством индигирцев и избравшая темой своей кандидатской диссертации сказки Русского Устья. Уже начало апреля, а морозец по-прежнему жмёт под тридцать, и лишь голубое небо и пропитавший тундру солнечный молодой свет напоминают о том, что где-то, должно быть, началась весна. А по всем остальным показателям — зима. Холодно. И как-то совсем не верилось среди этого холода, что если вот прямо сейчас пообедать строганиной — тонкими пластиками промёрзшей до стеклянного звона сырой рыбы — да ещё чуть пробежать следом за нартами, то очень быстро и надёжно можно согреться.

Порой, когда кто-то говорит, что в Сибири едят сырую рыбу и сырое мясо, и подаёт это как крайнюю степень отсталости и варварства, мимикой и голосом показывая, как ему, стало быть, носителю высокой культуры, всё подобное претит, то так и хочется сделать варварский поступок в отношении рассказчика.

Конечно, рыба не подвергалась так называемой термической обработке, но она должна быть непременно крепко замороженной. Талую рыбу никто есть не будет, так же как, к примеру, никто есть не будет растаявшее и согретое до комнатной температуры мороженое. Так что строганина на севере (в Сибири — расколотка) — это по-особому приготовленная рыба, хотя и готовить-то уже ничего не нужно, всё сделал мороз.

А теперь ещё: не всякая, далеко не всякая рыба может пойти на расколотку. Для этих целей пригодна только рыба, выросшая в холодных и чистых водах и определённой породы. В Восточной Сибири — омуль, хариус, сиг. Северяне к строганине относятся ещё более строго. Похоже, что предпочтение отдаётся чиру, рыбе на удивление царского вкуса. Так вот, охотник, чувствуя, что мороз уже основательно подбирается к его костям — на более мелкие ощущения холода он просто не обращает внимания, — останавливает собачью упряжку, достаёт чиру и острейшим ножом гонит по рыбине стружку. Дальше дело уже за малым — нужна смесь соли и перца. Перекусив, охотник пробегает за нартой небольшое расстояние и, разогретый таким образом, снова садится в нарты и продолжает путь. Теперь ему будет тепло, и довольно надолго.

Кстати, я должен сказать, что строганина — это одно из любимых блюд северян, и без него не обходится ни один праздничный обед.

За какие-нибудь час-полтора мы добрались до Русского Устья. Вернее, до того места, где оно когда-то стояло, где жило это поселение русских, до центра административной и духовной жизни края. Центр не центр, но, по крайней мере, самое крупное поселение индигирских понизовщиков, куда съезжались они для праздников и решения общих дел.

Место давнего поселения сейчас представляет собой не очень весёлое зрелище. Сохранился всего один дом, принадлежавший когда-то Гавриилу Пантелеймоновичу Шелоховскому. Дом выглядит так, как может выглядеть жильё без хозяина, посещаемое случайными людьми лишь время от времени. Почти от самого порога начинается обширное кладбище. Покосившиеся кресты на могилах заброшенно торчат из-под снега, а кругом ровная, бесконечная, без единого признака жилья промёрзшая сендуха. И колыхнулось-подумалось: как мало в этих местах живёт людей и как много стоит крестов...

Прошелестели, проплыли века над этими крестами. О чём они думали, русские люди, жившие здесь в давние-давние годы, как представляли себе счастье, и оправдали ли мы, потомки, их надежды? Так ли бережём Русь?

Тихо над Русским Устьем. И тишина настолько чиста и первозданна, что кажется, ухо на расстоянии вытянутой руки слышит ход наручных часов. И в этой тишине растворялось, осыпалось суетное, сиюминутное, а такие понятия, как «связь времён», «судьба народа», словно бы обретали плоть и кровь. И ты уже не просто человек, который уйдёт в никуда, но звено живой цепи, единящее прошлое и будущее. И какой быть цепи в будущем — во многом зависит от тебя.

Продираясь через суметы снега, добрались к двери дома, но дверь никак не хотела подаваться — примёрзла к порожку. Через косой осколок стекла, вставленный в верхнюю часть двери, заглянули в сенцы. Брошенный дом — он и есть брошенный: видны серые, неизвестного назначения тряпки, ещё что-то сломанное, ненужное. Но жизнь в доме продолжалась, другая, но продолжалась: среди этого запустения и небыли по-хозяйски сидел совершенно не пугливый горностайчик. Он не обращал внимания на наши голоса и чувствовал себя в полной безопасности.

Судя по всему, дом построен давно: построен из сплавного леса, принесённого рекой. Не одно лето подбирал человек среди кручёного-верчёного ветрами и морозами тонкомера подходящие лесины для дома. Угол рубили по старинке, в крест, так же, как рубили по всей Сибири избы, амбары и сторожевые башни.

— Ты побольше фотографируй, — говорил Валентин.

Старый дом, старый. Дерево — как на самых древних иконах — потрескалось по волоконцам, будто золой присыпано, взялось серым налётом. А ведь ещё совсем недавно в этом доме пела и плясала жизнь. И уж, конечно, плясали «омуканчик».

«Омуканчик» — это танец, который плясали деды и прадеды нынешних индигирцев. Почему он назван «омуканчиком»? А кто его знает. Назвали и назвали. Но вообще-то, был в этих краях, говорят, удачливый охотник Омукан. Из местных. И если охота была особенно удачной, то он плясал. «Омуканчик» — пляска радостная. Вчера нам посчастливилось её увидеть в местном клубе.

Вышла на круг женщина в старинных одеждах, в которых преобладали любимые цвета индигирцев — красный и зелёный (в Заполярье к этим цветам любовь вполне оправданна, это цвета лета: зелёная трава, красные цветы). Плавнo повела плечами, запритопывала. А рядом пошёл-пошёл, раскинув руки, проворный и ловкий мужичок в красной рубахе.

Музыки нет. Видно, не было среди тех давних землепроходцев музыкантов, обходились при плясках без музыки, заменяя её припевальщиками. Быть припевальщиком или припевальщицей сейчас умеют далеко не все русскоустыинцы. Давнее это искусство пошло на убыль, теснимое новым обычаем: петь и плясать — только артистам, на худой конец даже и самодеятельным, а нам, которые не артисты, — смотреть только да слушать. По радио, по телевизору. Включай и слушай.

В этот раз припевала Матрёна Ивановна Портнягина. Слов не разобрать, но бьётся, колотится ритм, бьётся сердце, бьётся в жилах горячая кровь, колдовской ритм набирает силу, и уже забываешь, что нет музыки. Хотя почему нет? Есть! В тебе эта музыка.

Гудит огонь в железной печи, красным цветом светится рубашка плясуна, зелёными переливами колышется платье плясуньи. Ритм пляски всё ускоряется и ускоряется. И слышен голос не одной только припевальщицы: выкрикивают, отбивают плясунам ритм почти все присутствующие...

Стараниями Юры Караченцева дверь все-таки открыли, горностайчик исчез в своих подземельях, и мы медленно и молчаливо вошли внутрь дома. Осторожно, словно опасаясь потревожить чей-то святой покой, присели на лежанки. Огляделись без суеты. Просторная изба. Хватало, видно, здесь места и для жизни будничной, и для жизни праздничной. Старожилы вспоминают, что когда-то, теперь уже в давние годы, собиралась молодёжь в Русское Устье на посиделки со всех окрестных русских становищ, приезжая порой за многие и многие вёрсты. Быть может, и в этот дом приезжали. А почему бы и нет?

Мы сидели молчаливо, и хорошо думалось в этой тишине. И опять думалось, что мы в сущности-то неотделимы от тех людей, которые жили в этом поселении, что мы суть люди одного корня, одного племени, которому судьбой предначертано вдруг устремиться встреч солнцу и идти до самого края Земли. И мы неотделимы от тех людей, что плясали в этой избе, и от тех, что построили эту избу, и от тех, что приплыли сюда на кочах и впервые вступили на эти берега. Мы просто разошлись во времени. Они так же, как и мы, ходили по этой избе, сидели на лежанках, смотрели в крошечные оконца на бесконечную тундру.

Один дом остался на старом месте Русского Устья. Всего один дом. Остальные... Частью снесла Индигирка. Другие избы разобрали хозяева при переезде. Говорят, что летом, когда сойдёт снег, хорошо видны места бывших построек. В других краях о бывшем жильё напоминают остов печи да ямина подполья. Здесь ничего этого нет. Лишь чуть приметное возвышение. Да ещё — на месте бывших русских изб особенно хорошо цветут синие колокольчики.

Всякое современное путешествие на север начинается и заканчивается самолётом. Таким было и наше путешествие. И снова мы летели над тундрой на маленьком самолёте, смотрели вниз на безбрежную сендуху, которая теперь не столь уже пугала своей промёрзлостью и пустынностью. Было заметно, как тальник по берегам реки, даже через четверть часа полёта к югу, стал выше, гуще, а ещё через короткое время далеко на горизонте в полуденной стороне зачернела полоска леса.

И было ощущение, что прикоснулись — пусть к самому краю, но прикоснулись — к живой, несуетной, нелёгкой истории своего народа, которая ещё, к счастью, не стала историей только книжной.

...Говорят, север обладает притягательной силой. Всё может быть. По крайней мере, душа просит новой поездки в те же не столь уже близкие края, к людям,

которые сберегли ощущение кровного родства, и которые говорят о себе так: «Все мы русские. Все от землепроходцев пошли. Были и помрём русскими».

* * *

Готовя эти воспоминания, изрядно прошёлся по своему путевому очерку и с повышенным вниманием прочитал большое повествование Валентина Распутина о Русском Устье, неоднократно возвращаясь к тексту, запоздало удивляясь и восхищаясь мощью художественного дарования автора. Я не знаю, хорошо это или плохо, но, общаясь с Валентином, мы почти никогда не вели литературных разговоров, если и говорили о той или иной литературной вещи, то вскользь, лишь коротко обмениваясь впечатлением от прочитанного. А о собственном творчестве напрямую — никогда. Ну как бы я ему сказал в глаза: «Ну, ты, Валя, мастер, талант!»?

Всё это отдавало бы цэдээловскими застольями, где можно было услышать в шуме голосов: «Да ты талант, брат», а то и, чего мелочиться: «Ты гений!». Не говорили, а как бы упоминали к слову, и в этом упоминании могло быть всё: и вопросы, и оценка, и радость за творческую удачу приятеля.

Мы были вместе в Русском Устье. Вместе разговаривали с потомками землепроходцев, вместе смотрели танец-эндемик «омуканчик», на одних нартах ездили в сендуху-тундру, и каждый из нас написал по очерку. И только сейчас, прочитывая оба эти творения, я, как мне кажется, по-настоящему осознал, каким могучим талантом наделил Валентина Господь.

Я тут не занимаюсь самоуничижением, не хочу сказать, что мой очерк плох. Он просто другой. И тогдашний редактор журнала «Сибирь», где очерк был опубликован, сказал, что Валентин Григорьевич отозвался о нём так: «Это, быть может, лучшее, что опубликовал журнал за год» (мне же Валентин ничего не говорил).

О том, как сумел он воплотить в слове суть явления, как осмыслил его, теперь уже можно говорить, не опасаясь нарушить тонкое и светлое, ускользающее, как туманец в ясное утро, правило, принятое давним сибирским людом: не хвали в глаза. Доброе слово, слово похвалы скажи, но знай меру. А лучше просто дай понять, что ты думаешь об увиденном, о прочитанном.

Очерк Валентина «Русское Устье» как-то не совсем удобно назвать очерком. Это, скорее всего, большое художественное повествование — научное, философское. И за всем этим стоял большой труд. Он перечитал и осмыслил все работы, касающиеся понизовщиков Индигирки. И, почувствовав, что чего-то «недобрал», снова улетел на Индигирку, теперь уже летом.

Зачем я здесь вспоминаю обо всём этом? Да только для того, чтобы показать, как сверхответственно относился Валентин к каждому написанному им слову, как работал, как жил работой. И для того, чтобы ещё раз вспомнить известное: большой художник, большой талант — это дар Божий и большой труд.

По-иному не бывает.